

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### Елка у Свентицких

#### 1

Как-то зимой Александр Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров. Целиком он не входил ни в какую дверь. Его привезли в разобранном виде, внесли по частям в дом и стали думать, куда бы его поставить. В нижние комнаты, где было просторнее, он не годился по несоответствию назначения, а наверху не помещался вследствие тесноты. Для гардероба освободили часть верхней площадки на внутренней лестнице у входа в спальню хозяев.

Собирать гардероб пришел дворник Маркел. Он привел с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслущивленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу.

Некоторое время все шло как по маслу. Шкап постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только осталось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она стала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускнуя узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшись на пол, упала на спину и Анна Ивановна и при этом больно расшиблась.

— Эх, матушка-барыня, — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — и чего ради это вас угораздило, сердешная. Кость-то целая? Вы пощупайте кость. Главное дело кость, а мякиш наплевать, мякиш дело наживное и, как говорится, только для дамского блезиру. Да не реви ты, ирод, — напускался он на плакавшую Маринку. — Утри сопли да ступай к мамке. Эх, матушка-барыня, нужли б я без вас этой платейной антимионии не обосновал? Вот вы, верно, думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша статья столярная, столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов-буфетов, через наши руки прошло в смысле лака или, наоборот, какое дерево красное, какое орех. Или, например, какие, бывало, партии в смысле богатых невест так, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья, крепкие напитки.

Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил, и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал:

— Ну, теперь только дверцы, и хоть на выставку.

Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдовой могилы». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину. Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия.

С этого падения началось предрасположение Анны Ивановны к легочным заболеваниям.

## 2

Весь ноябрь одиннадцатого года Анна Ивановна пролежала в постели. У нее было воспаление легких.

Юра, Миша Гордон и Тоня весной следующего года должны были окончить университет и Высшие женские курсы. Юра кончал медиком, Тоня — юристкой, а Миша — филологом по философскому отделению.

В Юриной душе все было сдвинуто и перепутано, и все резко самобытно — взгляды, навыки и предрасположения. Он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию.

Но как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией прирожденная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепользным. Вот он и пошел по медицине.

Будучи четыре года тому назад на первом курсе, он целый семестр занимался в университетском подземелье анатомией на трупах. Он по загибающейся лестнице спускался в подвал. В глубине анатомического театра группами и порознь толпились взлохмаченные студенты. Одни зубрили, обложившись костями и перелистывая трепаные, истлевшие учебники, другие молча анатомировали по углам, третьи балагурили, отпускали шутки и гонялись за крысами, в большом количестве бегавшими по каменному полу мертвецкой. В ее полутьме светились, как фосфор, бросающиеся в глаза голизною трупы неизвестных, молодые самоубийцы с неустановленной личностью, хорошо сохранившиеся и еще не тронувшиеся утопленницы. Впрыснутые в них соли глинозема молодили их, придавая им обманчивую округлость. Мертвецов вскрывали, разнимали и препарировали, и красота человеческого тела оставалась верной себе при любом, сколь угодно мелком делении, так что удивление перед какой-нибудь целиком грубо брошенной на оцинкованный стол русалкою не проходило,

когда переносилось с нее к ее отнятой руке или отсеченной кисти. В подвале пахло формалином и карболкой, и присутствие тайны чувствовалось во всем, начиная с неизвестной судьбы всех этих простертых тел и кончая самой тайной жизни и смерти, располагавшейся здесь в подвале как у себя дома или как на своей штаб-квартире.

Голос этой тайны, заглушая все остальное, преследовал Юру, мешая ему при анатомировании. Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его.

Юра хорошо думал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать. Но для такой книги он был еще слишком молод, и вот он отделялся вместо нее писанием стихов, как писал бы живописец всю жизнь этюды к большой задуманной картине.

Этим стихам Юра прощал грех их возникновения за их энергию и оригинальность. Эти два качества, энергии и оригинальности, Юра считал представителями реальности в искусствах, во всем остальном беспредметных, праздных и ненужных.

Юра понимал, насколько он обязан дяде общими свойствами своего характера.

Николай Николаевич жил в Лозанне. В книгах, выпущенных им там по-русски и в переводах, он развивал свою давнишнюю мысль об истории как о второй вселенной, воздвигаемой человечеством в ответ на явление смерти с помощью явлений времени и памяти. Душою этих книг было по-новому понятое христианство, их прямым следствием — новая идея искусства.

Еще больше, чем на Юру, действовал круг этих мыслей на его приятеля. Под их влиянием Миша Гордон избрал своей специальностью философию. На своем факультете он слушал лекции по

богословию и даже подумывал о переходе впоследствии в духовную академию.

Юру дядино влияние двигало вперед и освобождало, а Мишу — сковывало. Юра понимал, какую роль в крайностях Мишиных увлечений играет его происхождение. Из бережной тактичности он не отговаривал Мишу от его странных планов. Но часто ему хотелось видеть Мишу эмпириком, более близким к жизни.

### 3

Как-то вечером в конце ноября Юра вернулся из университета поздно, очень усталый и целый день не евши. Ему сказали, что днем была страшная тревога, у Анны Ивановны сделались судороги, съехалось несколько врачей, советовали послать за священником, но потом эту мысль оставили. Теперь ей лучше, она в сознании и велела, как только придет Юра, безотлагательно прислать его к ней.

Юра послушался и, не переодеваясь, прошел в спальню.

Комната носила следы недавнего переполоха. Сиделка бесшумными движениями перекладывала что-то на тумбочке. Кругом валялись скомканные салфетки и сырые полотенца из-под компрессов. Вода в полоскательнице была слегка розовата от сплюнутой крови. В ней валялись осколки стеклянных ампул с отломанными горлышками и взбухшие от воды клочки ваты.

Больная плавала в поту и кончиком языка облизывала сухие губы. Она резко осунулась с утра, когда Юра видел ее в последний раз.

«Не ошибка ли в диагнозе? — подумал он. — Все признаки крупозного. Кажется, это кризис». Поздоровавшись с Анною Ивановной и сказав что-то ободряюще пустое, что говорится всегда в таких случаях, он выслал сиделку из комнаты. Взяв Анну Ивановну за руку, чтобы сосчитать пульс, он другой рукой полез в тужурку за стетоскопом. Движением головы Анна Ивановна показала, что это

лишнее. Юра понял, что ей нужно от него что-то другое. Сбравшись с силами, Анна Ивановна заговорила:

— Вот, исповедывать хотели... Смерть нависла... Может каждую минуту... Зуб идешь рвать, боишься, больно, готовишься... А тут не зуб, всю, всю тебя, всю жизнь... хруп, и вон, как щипцами... А что это такое?... Никто не знает... И мне тоскливо и страшно.

Анна Ивановна замолчала. Слезы градом катились у нее по щекам. Юра ничего не говорил. Через минуту Анна Ивановна продолжала:

— Ты талантливый... А талант, это... не как у всех... Ты должен что-то знать... Скажи мне что-нибудь... Успокой меня.

— Ну что же мне сказать, — ответил Юра, беспокойно заерзал по стулу, встал, прошелся и снова сел. — Во-первых, завтра вам станет лучше — есть признаки, даю вам голову на отсечение. А затем — смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естественника? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Немедленно? Ну как знаете. Только это ведь трудно так, сразу.

И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждает-ся для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но все время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная

бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание — яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание — это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа.

Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, сколько ни припомните, вы всегда заставляли себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это наше, это открыто нам. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, говорит Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет, потому что прежде прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видели, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная.

Он расхаживал по комнате, говоря это. «Усните», — сказал он, подойдя к кровати и положив руки на голову Анны Ивановны. Прошло несколько минут. Анна Ивановна стала засыпать.

Юра тихо вышел из комнаты и сказал Егоровне, что-бы она послала в спальню сиделку. «Черт знает что, — думал

он, — я становлюсь каким-то шарлатаном. Заговариваю, лечу наложением рук».

На другой день Анне Ивановне стало лучше.

## 4

Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться.

Она часто посылала за Юрой и Тоней и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Варыкине, на уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали, но Юра легко со слов Анны Ивановны представлял себе эти пять тысяч десятин векового, непроходимого леса, черного как ночь, в который в двух-трех местах вонзается, как бы пырнув его ножом своих изгибов, быстрая река с каменистым дном и высокими кручами по Крюгеровскому берегу.

Юре и Тоне в эти дни шили первые в их жизни выходные платья, Юре — черную сюртучную пару, а Тоне — вечерний туалет из светлого атласа с чуть-чуть открытой шеей. Они собирались обновить эти наряды двадцать седьмого, на традиционной ежегодной елке у Свентицких.

Заказ из мужской мастерской и от портнихи принесли в один день. Юра и Тоня примерили, остались довольны и не успели снять обнов, как пришла Егоровна от Анны Ивановны и сказала, что она зовет их. Как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне.

При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала:

— Очень хорошо. Просто восхитительно. Я совсем не знала, что уже готово. А ну-ка. Тоня, еще раз. Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала? Но сначала несколько слов о тебе, Юра.



— Я знаю, Анна Ивановна. Я сам велел показать вам это письмо. Вы, как Николай Николаевич, считаете, что мне не надо было отказываться. Минуту терпения. Вам вредно разговаривать. Сейчас я вам все объясню. Хотя ведь и вам все это хорошо известно.

Итак, во-первых. Есть дело о Живаговском наследстве для прокормления адвокатов и взимания судебных издержек, но никакого наследства в действительности не существует, одни долги и путаница, да еще грязь, которая при этом всплывает. Если бы что-нибудь можно было обратить в деньги, неужто же я подарил бы их суду и ими не воспользовался? Но в том-то и дело, что тяжба — дутая, и чем во всем этом копать, лучше было отступить от своих прав на несуществующее имущество и уступить его нескольким подставным соперникам и завистливым самозванцам. О посягательствах некоей Madame Alice, проживающей с детьми под фамилией Живаго в Париже, я слышал давно. Но прибавились новые притязания, и не знаю, как вы, но мне все это открыли совсем недавно.

Оказывается, еще при жизни мамы отец увлекался одной мечтательницей и сумасбродкой, княгиней Столбуновой-Энрици. У этой особы от отца есть мальчик, ему теперь десять лет, его зовут Евграф.

Княгиня — затворница. Она безвыездно живет с сыном в своем особняке на окраине Омска на неизвестные средства. Мне показывали фотографию особняка. Красивый пятиконный дом с цельными окнами и лепными медальонами по карнизу. И вот все последнее время у меня такое чувство, будто своими пятью окнами этот дом недобрый взглядом смотрит на меня через тысячи верст, отделяющие Европейскую Россию от Сибири, и рано или поздно меня сглазит. Так на что мне это все: выдуманные капиталы, искусственно созданные соперники, их недоброжелательство и зависть? И адвокаты.

— И все-таки не надо было отказываться, — возразила Анна Ивановна. — Знаете, зачем я вас звала, — снова повторила она и тут же продолжила: — Я вспомнила его имя. Помните, я вчера про лесника рассказывала? Его звали Вакх. Не правда ли, бесподобно? Черное лесное страшилище, до бровей заросшее бородой, и — Вакх! Он был с изуродованным лицом, его медведь драл, но он отбил. И там все такие. С такими именами. Односложными. Чтобы было звучно и выпукло. Вакх. Или Лупп. Или, предположим, Фавст. Слушайте, слушайте. Бывало, доложат что-нибудь такое. Авкт или там Фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню. А там, можете себе представить, лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого. И бабушка всем по записочке. В контору. Кому денег, кому крупы, кому оружейных припасов. И лес перед окнами. А снегу, снегу! Выше дома! — Анна Ивановна закашлялась.

— Перестань, мама, тебе вредно так, — предостерегла Тоня. Юра поддержал ее.

— Ничего. Ерунда. Да, кстати. Егоровна наслетничала, будто бы вы сомневаетесь, ехать ли вам послезавтра на елку. Чтобы я больше этих глупостей не слышала! Как вам не стыдно. И какой ты, Юра, после этого врач? Итак, решено. Вы едете без разговоров. Но вернемся к Вакху. Этот Вакх был в молодости кузнецом. Ему в драке отбили внутренности. Он сделал себе другие, из железа. Какой ты чудак, Юра. Неужели я не понимаю? Понятно, не буквально. Но так народ говорил.

Анна Ивановна снова закашлялась, на этот раз гораздо дольше. Приступ не проходил. Она все не могла отдышаться.

Юра и Тоня подбежали к ней в одну и ту же минуту. Они стали плечом к плечу у ее постели. Продолжая кашлять, Анна Ивановна схватила их соприкоснувшиеся руки в свои и некоторое время

продержала соединенными. Потом, овладев голосом и дыханием, сказала:

— Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь. Вот я и сговорила вас, — прибавила она и заплакала.

## 5

Уже весной тысяча девятьсот шестого года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Лариного терпения. Он очень ловко пользовался ее подавленностью и, когда ему бывало нужно, не показывая этого, тонко и незаметно напоминал ей о ее поругании. Эти напоминания приводили Лару в то именно смятение, которое требуется сластолюбцу от женщины. Смятение это отдавало Лару во все больший плен чувственного кошмара, от которого у нее вставали волосы дыбом при отрезвлении. Противоречия ночного помешательства были необъяснимы, как чернокнижие. Тут все было шиворот-навыворот и противно логике, острая боль заявляла о себе раскатами серебряного смешка, борьба и отказ означали согласие, и руку мучителя покрывали поцелуями благодарности.

Казалось, этому не будет конца, но весной, на одном из последних уроков учебного года, задумавшись о том, как участвятся эти приставания летом, когда не будет занятий в гимназии, последнего Лариного прибежища против частых встреч с Комаровским, Лара быстро пришла к решению, надолго изменившему ее жизнь.

Было жаркое утро, собиралась гроза. В классе занимались при открытых окнах. Вдалеке гудел город, все время на одной ноте, как пчелы на пчельнике. Со двора доносился крик играющих детей. От травянистого запаха земли и молодой зелени болела голова, как на Масленице от водки и блинного угара.

Учитель истории рассказывал о Египетской экспедиции Наполеона. Когда он дошел до высадки во Фрежюсе, небо почернело,

треснуло и расколосось молнией и громом, и в класс через окна вместе с запахом свежести ворвались столбы песку и пыли. Две школьные подлизы услужливо кинулись в коридор звать дядьку закрывать окна, и когда они отворили дверь, сквозняк поднял и понес со всех парт по классу промокашки из тетрадей.

Окна закрыли. Хлынул грязный городской ливень, перемешанный с пылью. Лара вырвала листок из записной тетради и написала соседке по парте, Наде Кологривовой:

«Надя, мне нужно устроить жизнь отдельно от мамы. Помогите мне найти несколько уроков повыгоднее. У вас много знакомств среди богатых».

Надя ответила тем же способом:

«Липе ищут воспитательницу. Поступи к нам. Вот было бы здорово! Ты ведь знаешь, как тебя любят папа и мама».

## 6

Больше трех лет Лара прожила у Кологривовых как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, к которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.

Лаврентий Михайлович Кологривов был крупный предприниматель-практик новейшей складки, талантливый и умный. Он ненавидел отживающий строй двойной ненавистью баснословного, способного откупить государственную казну богача и сказочно далеко шагнувшего выходца из простого народа. Он прятал у себя нелегальных, нанимал обвиняемым на политических процессах защитников и, как уверяли в шутку, субсидируя революцию, сам свергал себя как собственника и устраивал забастовки на своей собственной фабрике. Лаврентий Михайлович был меткий стрелок и страстный охотник и зимой в девятьсот пятом году ездил по воскресеньям в Серебряный бор и на Лосиный остров обучать стрельбе дружинников.



[Почитать описание, рецензии  
и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:

